

М.Н. Катков

Значение национальной политики для России

И французские, и немецкие публицисты преподают нам уроки политической мудрости. Кое-что им не нравится, кое-что им очень нравится у нас: своими похвалами и своими порицаниями они, по-видимому, желали бы проложить наилучшее русло течению нашей политики. Нельзя достойно возблагодарить наших доброжелателей за их заботы о наших делах. В самом деле, нам, новичкам в европейской цивилизации, не худо прислушиваться к урокам политической мудрости, выработанной европейскими народами и составляющей силу их цивилизации. Мы не можем не принять к полному сведению такого могущественного факта, как Европа с ее цивилизацией и системой ее государств, - Европа, в состав которой входит и Россия как одна из ее великих держав; мы, конечно, всячески должны стараться ввести этот факт в круг наших понятий и овладеть им. Но для этого нам вовсе не требуется прислушиваться к тому, что говорят о нас известные или неизвестные господа на европейских рынках; вообще нам требуется знать не столько то, что говорится в Европе, сколько то, что в ней делается. Мало ли что говорится на свете, а особенно в Европе, где все говорит и все говорится? Если полезно отдавать себе отчет в том, что делается на свете, и особенно в том, что делается в странах, стоящих во главе цивилизации; если полезно и достойно изучать условия и законы существующего, если таким изучением просвещается и обогащается разум и приобретает мудрость, то, наоборот, прислушиваться к чужим толкам и подчиняться советам, которые подаются кем попало со стороны, и опасно, и недостойно. О том, чего стоят подобные советы, сложен старый аполог о крестьянине, который выехал на рынок на осле, а кончил тем, что взвалил себе осла на плечи.

Итак, нам нечего знать, что думает такой-то господин француз или такой-то господин немец о наилучшей возможной политике в России; но нам, без сомнения, интересно знать, какой политике следует в своих делах, например, Франция или Пруссия. Француз или немец, желающий поучать нас, пусть укажет нам на Францию, пусть укажет нам на Пруссию. Слова сами по себе не имеют никакой силы; слова почерпают свою силу в деле. Поучительны не слова, поучителен пример. Итак, пусть француз укажет нам на Францию, пусть немец укажет нам на свои германские государства: мы,

может быть, в том или другом не согласимся с ними, но мы поймем и оценим их искренность, мы поймем и оценим честность их слова. Впрочем, быть может, иностранный мудрец, предлагающий нам советы, недоволен ходом дел в своей стране? Быть может, путем свободного мышления этот француз или этот немец дошли до таких воззрений, которые несогласны с ходом дел в их респективных отечествах? В таком случае, тот и другой поступят разумно, если прежде обратятся с своими уроками к собственному народу и прежде попытаются переиначить политику собственной страны, а потом уже отнесутся к краям отдаленным и чуждым. В самом деле, не бессмысленно ли предполагать, чтобы немец стал хлопотать об улучшении внутренней политики в чужой стране, которой он не знает и в делах которой не может принимать непосредственное участие, между тем как в его собственном отечестве, там, где он живет и действует, где его слово может иметь практическое значение и силу, господствует именно то самое, что ему не нравится? Статочное ли дело, чтобы какой-нибудь немецкий публицист, убежденный в несостоятельности и негодности национальной политики вообще, стал ополчаться против ее развития в России и оставался безмолвным зрителем этого бедствия в своем отечестве? Если же немец не только терпит, но и признает за благо национальную политику в Германии, а вооружается против применения этой политики в России, то что же может значить это, как не то, что нашим советчикам желательно или выгодно, чтобы дела у нас шли как можно хуже.

Как идут дела во Франции, как идут дела в Пруссии? Обе эти страны, бесспорно, принадлежат к самым цивилизованным, и пример их, во всяком случае, очень интересен. Возможное ли дело, чтобы во Франции или в Пруссии инородцы, вошедшие в государственную область этих стран, оставались чужды господствующему народу, гордились этим отчуждением и не желали иметь с ним ничего общего? Известно, что во Франции есть целые области, присоединенные мечом и искони заселенные народом иного племени; так, Лотарингия была страной искони немецкою, но известно также, что во всей Франции в настоящее время нет народонаселения более французского, чем потомки немецких обитателей Лотарингии. Известно, что Франция в настоящее время владеет значительной окраиной, сплошь и рядом заселенной немцами и также присоединенною силою меча, - мы говорим об Эльзасе, - и известно также, что хотя в этой части Франции еще держится в простом народе искаженная немецкая речь, однако во Франции нет более ревностных французов, как эти эльзасские немцы, которых ничем так нельзя оскорбить, как названием немцев. Любопытно вникнуть, почему эльзасские немцы так гордятся званием французов, так стараются быть французами и

действительно составляют живую и неотъемлемую часть французского народа. Не потому ли это, что обе народности, и французская, и немецкая, слишком родственны между собою, слишком созвучны по своему характеру? Нет, мы знаем, что это две самые антипатические между собою народности и что между французским и немецким языками нет ничего общего, так же как нет ничего общего между французским и немецким обычаем, как нет ничего созвучного между французским и немецким характером. Но, может быть, инородческий элемент здесь принадлежит к национальности слабой и темной, к племени, лишенному культуры? Нет, немецкая народность есть народность образованная и прогрессивная; своею культурой она не только не уступает французской, но в некоторых отношениях и превосходит ее. Быть может, порядки во Франции были очень хороши и привлекательны? Нет, с тех пор как этот край присоединился к Франции, порядки в ней изменялись беспрерывно, значит, не были хороши и привлекательны. Быть может, французское общество, движимое личною и коллективною энергией, употребляло всевозможные усилия, чтобы ассимилировать этот чуждый элемент? Нет, французское общество никогда не отличалось самодеятельностью, частного предприимчивостью и силою колонизации; во Франции, как известно, все поглощалось правительственною организацией, всегда и за все отвечало правительство, всегда и все делалось правительственными способами. В факте усвоения немецких элементов французскому народу нисколько не участвовало то, что называется свободною общественною деятельностью, в отличие от деятельности правительственной. Что же было виною этого полного слияния с французским народом присоединенных к нему немецких народонаселений? Что причиною тому, что эльзасский немец из всех сил бился и из всех сил бьется, чтоб уподобиться французу и быть истым французом? Причиною тому лишь одно обстоятельство, именно то, что немецкие народонаселения, вошедшие в государственную область французского народа, должны были естественно почтить своим отечеством Францию, должны были естественно признать себя французами. Немецкие народонаселения, входя в государственный состав Франции, *eo ipso* [в силу этого (лат.)] становились французами, и правительство Франции ничего другого не делало, как только признало этот факт во всей его истине и силе. К своим новым подданным оно отнеслось как к французам, и его новые подданные поспешили сравняться с французами. Французское правительство не имело надобности притеснять или насиловать их: оно только не ставило их в исключительные отношения к себе, и они сами собою стали французами. Во Франции сменялись всевозможные формы правления; Франция была и абсолютной монархией, и

республикой, и военного диктатурой под именем империи, и конституционной монархией с династией, навязанною иностранным вмешательством, и конституционной монархией с династией, вышедшею из революции, и снова стала военного диктатурой; в течение этого короткого времени она пережила много переворотов, видела много торжеств и падений; но никогда, ни в каком случае, ни в каком положении, ни при какой перемене французское правительство, в чьих бы руках оно ни находилось, не переставало быть французским; как бы оно ни действовало в других отношениях, оно всегда действовало как правительство французское, и никогда не было ни бретонским, ни эльзасским и т.п., и не было также отвлеченным, не имеющим никакой национальности принципом власти. Оно считало бы для себя бесславием, если бы в том или другом положении оно могло показаться не французским. И потомок Людовика Святого на троне Франции, и счастливый солдат, овладевший французскою короною, и демагог, и конституционный министр, и каждый орган власти сверху до низу правительственной иерархии, - все, что во Франции имело какую-нибудь силу и долю влияния, все всегда чувствовало себя французским, все держало высоко знамя французской национальности. А потому и из новоприсоединенных элементов все, что хотело получить значение, все, что хотело действовать и иметь силу, старалось прежде всего о том, чтобы стать несомненно французским. Иностранец здесь не хочет быть иностранцем; он гордится званием француза и чувствует себя оскорбленным и униженным уж конечно не тогда, когда его приравнивают. К господствующей народности, а, напротив, когда между им и французом делается различие. В своих новоприобретенных владениях Франция не принимала каких-либо насильственных мер для искоренения или подавления инородческих национальностей, не запрещала говорить и писать на немецком языке в Эльзасе, как не запрещает говорить и писать на итальянском языке в Ницце, как не запрещает говорить и писать на каком угодно языке во всех пунктах своей территории. Но зато она сама не хочет знать иного языка, кроме французского, то есть ее правительство не признает на всей ее земле никакой другой народности, кроме французской, ибо язык и народность одно и то же. В ее судах, в ее администрации, в школах, содержимых правительством, господствует один язык - французский, то есть одна народность - французская. Только тем, что правительство французское всегда было несомненно и исключительно французским, объясняется эта могущественная сила уподобления, которую французский народ оказывал на все чуждые элементы, входившие в его государственную область. В этом неизменном национальном свойстве французского правительства заключается корень

величия и славы этой страны, корень ее цивилизации и развития. Этим свойством искупает она все то, что в других отношениях внутренняя политика ее представляла или представляет дурного и недостаточного. Эта неизменная национальность французского правительства, в чьих бы руках оно ни находилось, спасала Францию от всех бед; оно сообщило французской нации ее несокрушимость. Франции не нужно обнажать меч для того, чтоб удерживать за собою ту или другую область, каким бы племенем ни была заселена она первоначально. Франция благодаря национальности своей политики и полному уравнению пред собою всех народонаселений своей земли никогда не знала язвы сепаратизма; при всех потрясениях и смутах, которым она подвергалась в борьбе за власть между разными партиями, ни одна часть ее владений не стремилась отторгнуться от ней, никогда на ее окраинах не обнаруживалось ни малейших признаков разложения. Что бы ни подвергалось спору в этой стране, никогда ни в одной ее части не подвергалась спору французская национальность. Французские порядки не всегда были хороши, и они часто изменялись при больших или меньших потрясениях; но ни одна часть французских владений не стремилась приобрести какое-либо исключительное отношение к французскому правительству и тем отделиться от французского народа. Обитатели Эльзаса точно так же, как обитатели Бретони или Нормандии, участвовали во всех событиях, постигавших Францию, во всех переворотах, которые она испытывала; но везде и всегда участвовали они как французы, в интересах целого. Никто не скажет, чтобы Франция поступала жестоко относительно инородческих элементов, которые она присоединяла к себе; напротив, она не делала между ими и собою никакого различия, она принимала их, как своих детей, и тем действительно делала их навсегда своими верными детьми. Новые народонаселения, входя органически в состав господствующего народа и совершенно усваясь ему, вносили с собою новые творческие элементы в его жизнь, новые особенности в его гений и таким образом служили к обогащению великой исторической национальности, а с тем вместе к обогащению всемирного прогресса. С другой стороны, эти присоединившиеся к Франции иноплеменные народонаселения, вступив раз навсегда в полное органическое единство с французским народом, став детьми французской земли, став французами, избавились от того двусмысленного положения, в каком неизбежно должны находиться области, механически присоединенные к государству, удерживающие свою инородческую национальность, связанные с господствующим народом общою властью, но внутренне чуждые ему и обреченные на мучительное чувство неполного существования, -

существования отравленного, раздраженного, озлобленного. Всякой народности более или менее свойственно стремление к самостоятельному политическому существованию; всякая народность хочет иметь свое правительство, свою власть, свое государство. Принадлежать к государству другого народа, не сливаясь с ним внутренне и удерживая свою инородческую особенность, - такое состояние столько же мучительно для инородцев, сколько опасно для государства, к которому они механически примкнуты. Исторический жребий, присудивший одной национальности войти в государственную область другой, совершается хорошо, когда совершается решительно; в противном случае он превращается в источник проклятий, страданий и бедствий. Если бы присоединение одной народности к государственной области другого народа было сопряжено для нее с страданием и чувствовалось как бедствие в поколении, застигнутом катастрофой, то ни с какой точки зрения невозможно желать, чтоб эти страдания увековечились и простерлись на все грядущие поколения. Если жребий истории решил присоединение каких-либо инородческих народонаселений к другому государству, то столько же в интересе государства, сколько и в интересе этих присоединенных элементов, а равно и в интереса человечества требуется, чтобы соединение было полное и искреннее. Живая историческая национальность ни из чего другого так не познается, как из силы органического уподобления элементов, заступающих в сферу ее действия. Эта сила уподобления, свойственная живой национальности, главным образом знаменуется национальностью правительства, национальностью его политики, которая не делает различия между какими-либо инородческими элементами и господствующим народом.

Главною причиною того рода бедствий, которые испытала Ирландия, был дух религиозной вражды, примешавшийся к политике, та ожесточенная и упорная борьба, которую выдерживал в Англии протестантизм против папизма. Ирландия страдала, потому что, вследствие религиозных причин, ее упорно держали в униженном и отчужденном состоянии. Но антагонизм ослабевал и терял значение по мере того, как исчезало различие между подданными одной короны, призванными жить одною историческою жизнью. Призрак особой национальности порождался в Ирландии не воспоминаниями ее прошлой Независимости; напротив, эти воспоминания сами гальванизировались тем неполноправием и униженным состоянием, в котором держала ее Англия, не давая ей слиться с собою. Здесь мы видим пример пагубной поддержки национального чувства в присоединенной стране унижением ее пред господствующею народностью; в других местах

мы можем видеть примеры подобной поддержки в силу преимуществ, получаемых пред господствующею народностью присоединенными к ее государственной области обрывками других национальностей. И та и другая системы, полагая рознь между господствующею народностью и присоединенными к ней элементами, вредны и пагубны, с тою только разницей, что система унижения представляет менее неблагоприятную перспективу в будущем: она есть только выражение политики до излишества национальной и, как все доведенное до излишества, наносящей вред самой себе; будучи злоупотреблением религиозной страсти, как это было в протестантской Англии по отношению к католической Ирландии, такое положение дел подлежит исправлению, и с умиротворением возбужденных страстей для угнетенного края наступают лучшие времена. Мы говорили о национальной политике Франции; взглянем теперь на Германию. В Германии национальное чувство было ничтожно до той поры, пока ее государства не возобладали над иноплеменными элементами и не усвоили их германской народности. Пруссия главным образом состоит из народонаселения не германского племени, но ставших безвозвратно немецкими. Не только Восточная и Западная Пруссия, не только Силезия, но и Померания и Бранденбург, где стоит столица Прусского королевства, - все это было когда-то заселено разными славянскими и литовскими племенами, и самое имя Пруссии есть имя той ветви литовского племени, которая некогда жила в восточных частях этого королевства. Теперь этих славянских и литовских племен почти не существует в Пруссии. Самая Познань, недавнее приобретение Пруссии, стала уже почти немецким краем и была бы окончательно немецким, если бы не соседство с созданным Россией Царством Польским. Где девались эти племена, заселявшие некогда страны, составляющие нынешнее Прусское королевство? Были ли те иноплеменные люди, которые обитали в этих местах, посечены мечом или изгнаны жестокими победителями? Нет, все эти народонаселения остались на своих местах, но власть, которая водворилась здесь, была власть немецкой народности, и она оставалась такою не только в отношении к собственно немецким народонаселениям, водворившимся вместе с нею в этих странах, но равно и к племенам славянским и литовским, сидевшим тут изначала. Мы не знаем, в какой мере было тяжело этим племенам подчиниться чуждой водворившейся между ними власти; но мы знаем, что массы ныне живущих потомков этих племен видят в ней свою родную власть и чувствуют себя вполне немецкими. В целой Германии нет, без сомнения, элементов более немецких, чем обитатели Померании, Бранденбурга и других провинций королевства Прусского, которые в прежние времена были заселены не

германскими народностями. Пусть взглянут на области самого Прусского королевства и сравнят дух обитателей его восточных областей, усвоенных Германией, с духом обитателей его западных пределов, искони германских: в этих последних, на Рейне, чувство германской народности несравненно слабее, чем в первых, - и, конечно, не на Рейне находится центр тяжести германского могущества. Обитатели левого берега Рейна были недалеко от того, чтобы сделаться французами, а в тех частях Пруссии, где германская национальность доказала свою энергию уподоблением себе чуждых племен, преимущественно развился тот дух, который дал германской народности высшее политическое значение. Если бы на окраинах Германии, в силу уподобления чуждых элементов, не развился этот дух, то германская народность оставалась бы в том бессильном состоянии, лишенном чести и достоинства, о котором история дает еще столь недавнее свидетельство. Так справедливо, что сила органического уподобления (которою в высокой степени обладает русский народ, о чем свидетельствует его допетровская история) условливает достоинство национальности и дает ей место во всемирно-историческом развитии!

Теперь спрашивается, что было бы с этими окраинами нынешней Германии, которые в прежние времена были заселены чуждыми немецкому корню племенами, - что было бы с этими странами, если бы водворившееся в них германское начало не обладало достаточною ассимилирующею силой, другими словами, если бы политика германской власти в этих местах не была достаточно национальною? Сила ли была бы в этих местах, или, напротив, жалкое бессилие, пагубное для Германии и мучительное для чуждых племен, захваченных ею, но не усвоенных ее духу и ее языку? Не представляли ли бы эти места позорище бесславия и страданий, позорище событий, которые обращались бы в скорбь человечеству, в ущерб цивилизации, в проклятие для бесчисленных поколений людей? Попробуйте теперь какого-нибудь Herrn Wilkow, то есть г. Волкова, родом откуда-нибудь из Померании, то есть из давнего славянского Поморья: вы найдете в нем коренного германца и ни в одном изгибе его души вы не встретите тени иной национальности, которая отравляла бы его существование, а с тем вместе отравляла бы и существование государства, к которому он принадлежит. Засим спрашивается: лучше ли было бы, если бы в этих людях прозябало чувство иной национальности, лишенной независимого существования и подчиненной чуждому правительству? Лучше ли было бы для живущих поколений, если бы они сохранили какую-нибудь связь с народностями, которым не было суждено существовать в этих местах самостоятельную жизнь? Лучше ли было бы, если бы люди этих мест вели существование

тень Ахеронта и томились жаждою ускользящей жизни? Лучше ли было бы, если бы здесь всходила обильная жатва ненависти и измены, явной или тайной? Лучше ли было бы это и для людей, и для государства? Могло ли бы это государство иметь силу и процветать? Было ли бы возможно в нем правильное и плодотворное развитие гражданственности? В Пруссии признается только одна нация. В Австрии, напротив, мы видим изобилие народов, и австрийский император, обращаясь в торжественных случаях к своим подданным, так же как и в дипломатических актах своего правительства, говорит не о народе своем, как император французов или король Прусский, а о "народах". Но австрийский император дорого бы дал, чтоб иметь возможность употреблять в этом случае единственное число вместо множественного. Множественность наций, составляющих государство, есть элемент его слабости, а отнюдь не силы. Австрия составила из многих цельных государств, которые соединились в течение времени под одною династией; государств, когда-то бывших могущественными и цветущими; но, несмотря на это и на то, что германский элемент в Австрии сравнительно малочисленный, имеет дело со многими иноплеменными государствами, несмотря на то, что Австрийская империя считает в себе около тридцати пяти миллионов жителей, германский элемент, едва превосходящий семь миллионов, остается господствующим, объединяющим и на все налагающим свою печать. Несмотря на то что в состав Австрии входят всею своею целостью такие государства, как королевство Венгерское, королевство Чешское, Венеция, бывшая когда-то славною республикою, и многие другие страны, которые выработали и сохранили свою историческую индивидуальность, австрийское правительство употребляет все усилия, и употребляет их не без успеха, к объединению этих народностей в духе и смысле народности германской. Мы, русские, вовсе не обязанные доброжелательствовать Пруссии или Австрии, можем с своей точки зрения желать, чтоб эти усилия не увенчались успехом и чтобы Германия не водворилась окончательно во всех подвластных ей странах; но германское правительство Австрии не без основания видит в этом главное условие для прочного существования и развития нынешней Австрийской империи. Оно заботится не о том, чтобы дать каждой из народностей, входящих в состав империи, возможно более отдельное от немецкой положение; напротив, все усилия его направлены к тому, чтобы собрать все эти разнородные элементы по возможности воедино и сосредоточить их вокруг малочисленной, но господствующей национальности германской. И может быть, скажем не без некоторого невольного чувства сожаления, это удастся ему, и император Австрийский не

будет в печальной для него необходимости говорить о "своих народах". Мы говорили о государствах европейских; посмотрим, какую политикой руководствовались и руководствуются правительства варварские и как идут дела в государствах, лишенных внутренних элементов силы и жизни. Когда-то мы сами были народностью угнетенною, завоеванною, находившеюся под чуждою властью. Когда-то над русским народом тяготело иго монголов. Какую политикой руководствовалось правительство Золотой Орды? Оно высылало тучи саранчи на подвластные ей страны; ее баскаки наезжали для собирания дани; оно требовало внешней покорности и карало ослушных; оно принимало поклоны и приношения вассальных князей, но оно и понятия не имело о живых силах национальности; оно оставляло подвластные народы при их особых властях, при их языке, при всех условиях их особенного быта; оно не помышляло о национальной политике в отношении к ним, потому что оно не знало и не понимало значения какой бы то ни было национальности, а того менее монгольской, потому что монгольский народ в его руках был только бичом Божиим; оно не чувствовало себя органом живой национальности, призванной к созиданию и к совершению какого-нибудь исторического призвания. Для нас такое свойство монгольского правительства было обстоятельством счастливым. Наши предки под игом монголов не утратили своей народной самостоятельности, а напротив, искусно пользуясь этою грубою и дикою силой, успели крепче сплотиться и собрать воедино свою разрозненную землю. Наши князья искусно вели свои дела и, временно покоряясь варварской орде, улещая ханов и их советников, изъявляя им свою преданность и покорно исполняя все их прихоти, в то же время собирали свои силы и готовили падение варварского царства, которое над ними тяготело.

Мы видим, как в цивилизованных государствах Европы правительства стараются более всего объединять свои владения в смысле главной народности и полагают свое достоинство и торжество в национальности своей политики; но прогресс турецкий - иного свойства. "Больной человек", как мы видим, разлагается на свои составные части, которые были в нем механически связаны. В то время как могущественные, призванные к жизни христианские государства Европы представляют собою цельные индивидуальности, Турецкая империя является осуществлением того идеала, о котором восторженно мечтают некоторые из наших прогрессистов и к которому хотели бы склонить нас разные доброжелатели наши. Оттоманское правительство в настоящее время служит лишь внешнею связью, соединяющею совершенно самостоятельные государства. Сила ли Турецкой империи выразилась в том, что на ее окраинах

образовались независимые государства? Прогресс ли ее создал сначала Греческое королевство, а потом Сербское княжество и Румынию? Могущество ли оттоманской цивилизации и присущие ее правительству свойства великодушия, либеральности и гуманности выразились в этой особого рода ленной системе, в этой особого рода федерации разных государств, которых все отношение к Оттоманской империи состоит лишь во временном подчинении отвлеченному символу власти в лице великого падишаха?

К какой же категории наций и государств хотели бы отнести нас заграничные советователи наши, радеющие о наших пользах? К которому из этих двух прогрессов они хотели бы сопричислить нас? Пусть они не рассчитывают на наше слабоумие и не говорят нам о великодушии, либеральности, гуманности и прогрессе; пусть они примут более прямой способ выражения, который привыкли мы слышать от открытых врагов наших, и просто скажут нам: вы нация, не призванная к жизни, вы не нация, а орда; готовьтесь же уступить ваше место другим.

Но мы полагаем, что как друзья, так и более откровенные враги наши ошибаются в своих предположениях и суждениях. Их вводят в заблуждение некоторые обстоятельства нашего недавнего прошедшего, того громадного переворота, который совершился у нас в начале прошедшего столетия, в смысл которого они не имеют побуждений вникнуть и который оставил за собою множество недоразумений, еще висящих туманом над нашею жизнью. Но туман начинает редеть, и с каждым новым историческим мгновением мы все более и более освобождаемся от недоразумений, которые вводят в заблуждение и своих, и чужих. Цели нашей внутренней политики обозначаются яснее, и она, назло нашим советодателям, будет принимать, с Божиею помощью, все более и более национальный, то есть все более и более европейский характер...